

ЯНВАРЬ

Глава вторая

IV. Русская Сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания.

Занимался я в этот месяц и литературой, то есть бельлетристикой, «изящной литературой», и кое-что прочел с увлечением. Кстати, недавно прочел я одно иностранное мнение о русской сатире, т<о> е<сть> о современной нашей сатире, теперешней. Оно высказано было во Франции. Замечателен тут один вывод, — забыл подлинные слова, но вот смысл: «Русская сатира как бы боится хорошего поступка в Русском обществе. Встретив подобный поступок, она приходит в беспокойство и не успокаивается до тех пор пока не приищет где-нибудь, в подкладке этого поступка, подлеца. Тут она тотчас обрадуется и закричит: «Это вовсе не хороший поступок, радоваться совсем нечему, видите сами тут тоже подлец сидит!»

Справедливо ли это мнение? Не верю, чтоб было справедливо. Знаю только, что сатира у нас имеет блестящих представителей и в большом ходу. Публика очень любит сатиру и однако, мое убеждение по крайней мере, что та же самая публика несравненно больше любит положительную красоту, алчет и жаждет ее. Граф Лев Толстой без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков.

Сатира наша, как ни блестяща она, действительно страдает некоторою неопределенностью — вот что разве можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить в целом, в общем: что именно хочется сказать нашей сатире? Так и кажется, что у ней у самой нет никакой подкладки, но может ли это быть? Чему она сама-то верит, во имя чего обличает, — это как будто тонет во мраке неизвестности. Нельзя никак узнать что сама она считает хорошим.

И вот над вопросом этим странно задумываешься.

Прочел «Новь» Тургенева и жду второй части. Кстати: вот уже тридцать лет как я пишу, и во все эти тридцать лет мне постоянно и много раз приходило в голову одно забавное наблюдение. Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет) и умершие и теперешние, все одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчеты за весь истекший год), — то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, всё одну и ту же фразу: «В наше время, когда литература в таком упадке», «в наше время, когда русская литература в таком застое», «в наше литературное безвремение», «странствуя в пустынях русской словесности», и т<ак> д<алее> и т<ак> д<алее>. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять, по крайней мере, преталантливых бельлетристов. И это только в одной бельлетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей как у нас, и так сряду, без промежутков. А между тем я даже и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности»[1]. Впрочем, это только забавное наблюдение мое; да и вещь-то совершенно невинная и неимеющая никакого значения. А так, усмехнуться можно.

Об «Нови» я разумеется ничего не скажу; все ждут второй части. Да и не мне говорить. Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения. Замечу лишь одно: на 92 странице романа (см. «Вестник Европы») с верха страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась по-моему вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению этот взгляд совершенно

ошибочен [2] и я с ним глубоко не согласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина.

Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных Записок» [3]. Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного! Наш поэт очень болен и — он сам говорил мне — видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно, (у него какая-то язва в кишках, болезнь которую и определить трудно), но я не верю что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. Вначале зимы я начал вдруг «Бедных людей» мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть я не знал как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «принесите рукопись», (сам он еще не читал ее): «Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии Отечественных Записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — «осмеет он моих «Бедных людей»! — думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами — «неужто всё это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — всё это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «а не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но прочтя десять страниц решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так по

крайней мере он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется и о Гоголе, цитую из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное о Белинском. «Я ему сегодня же, снесу вашу повесть и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и кажется всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего еще не написал такого размера, как удалось ему вскоре, через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один. Писал он тоже чуть не с 16-ти лет. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и может быть сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними наверно уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми.» — «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении: «Приведите, приведите его скорее!

И вот (это стало быть уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим, — «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж оно так и надо», — подумал я, но не прошло кажется и минуты как всё преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а так сказать из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «Их Превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута цалования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разьяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине!

Вам правда открыта и возвешена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!»...

Всё это он тогда говорил мне. Всё это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду “верен”! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А всё говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, «они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют, над пороком и злом мы победим; о к ним, с ними!»

Я это всё думал я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, что были эти тогдашние наши минуты, и увидал, что он помнит о них и сам. Я и знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его: «Это я об вас тогда написал» — сказал он мне. А прожили мы всю жизнь врознь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

Песни вещие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.

Тяжелое здесь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!...

Примечания:

[1] ...я даже и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности». — Достоевский имеет в виду статью А. М. Скабичевского «Беседы о русской словесности (Критические письма)», в начале которой было высказано следующее заключение о современной русской литературе: «Что касается лично до меня, то я вполне разделяю недовольство большинства общества современною беллетристикою. Если и существуют в литературе два, три имени, которые следует исключить из этого недовольства, если и появляется в течение года два, три произведения, отмеченные сильным талантом и обращающие на себя всеобщее внимание, то подобные явления представляются словно оазисами в дикой пустыне. Они остаются сами по себе, а пустыня тоже — сама по себе и, главное дело, продолжает пребывать всею же бесплодною пустынею» (Отеч. зап. 1876. № 11. С. 2).

[2] ...на 92 странице романа (см. «Вестник Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения ~ К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен... — Подразумеваются следующие строки о Соломине в XVI гл. «Нови»: «...Соломин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них — не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров — и до некоторой степени сочувствовал им — ибо сам был из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого „ничего ты не поделаешь” и которого долго готовить надо — да и не так, и не тому, как те. Вот он и держался в стороне — не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать — и даже поучиться, если так придется» (см.: Вестн. Европы. 1877. № 1. С. 92).

[3]. Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книжке «Отечественных записок». — Подразумеваются следующие стихотворения Некрасова: «Вступление», «Сеятелям», «Отрывок», «Молебен», «З<ин>е», «Пророк (Из Барбье)», «Дни идут... все так же воздух душен...», «Скоро стану добычею тленья», «Друзьям» (Отеч. зап. 1877. № 1. С. 277—282)